

# ЗИНАИДА ГИППИУС

БЕССЛОВЕСНАЯ

# **Зинаида Николаевна Гиппиус**

## **Бессловесная**

### **Аннотация**

«Не понимаю, как это случилось.

Да, впрочем, что же случилось? Ничего: все дело в том и есть, что ничего не случилось, а вернее, случилось – ничего...»

# Содержание

I	4
II	7
III	11
IV	16
V	19
VI	22

# Зинаида Гиппиус

## Бессловесная

### I

Не понимаю, как это случилось.

Да, впрочем, что же случилось? Ничего: все дело в том и есть, что ничего не случилось, а вернее, случилось – ничего.

Мы с Лидусей никогда не ссорились. Ну, конечно, бывали размолвки, она раздражалась, но по пустякам. Думал я: много значила невозможность на ней жениться. Для женщины важно, для всякой, живет ли она в гражданском браке или законном. В законном браке у нее одна психология, в свободном – другая.

Лидуся не оставила своего мужа, он сам ее бросил. Был он плохой человек, и не любила она его, кажется, никогда.

Бросил, – она обрадовалась. Зажила приятно, тихо, – отдохнула. Средства у нее свои, хорошие. Мать – богатая, важная и злая старуха. Лидуся не поселилась с ней, а взяла квартиру рядом, на той же площадке. Перевезла туда свою голубовато-зеленую мебель (подарок матери), весело устроилась на свободе.

Я познакомился с ней через ее брата, харьковского профессора, которого знал давно. Он приехал в Петербург, лек-

цию какую-то читал, на этой лекции я увидел Лидусю в первый раз. Она мне понравилась не сразу; красивая, но условная какая-то красота. Голубые глаза, выпуклые и, когда молчит, – похожи на стеклянные. Но вскоре я ее полюбил, и полюбил по-настоящему, навсегда, как любят: неизвестно за что, а просто.

Мне далеко за тридцать, я читаю лекции по психологии на разных курсах, живу тихо и одиноко с Наташей, моей девочкой. Я женился случайно, неудачно. Жена через год умерла, оставила мне Наташу. Когда я полюбил Лидусю – Наташе было лет пять.

Женщина любит детей всегда после мужа, после любовника, значит – всегда через него. Совсем чужих детей женщины редко любят.

Лидуся была сдержанна, я не смел сказать, что люблю, и не знал, что думать, пока не увидел, что она привязалась к моей Наташе. Девочка некрасивая, неприветливая, а Лидуся приходила ко мне для нее, искренно заботилась о ней, играла с ней, целовала.

И тогда я сказал Лиде, что люблю. Объяснение вышло странное, точно не объяснение. Говорил ей, – помню, на извозчике, весенним вечером, – говорил о том, что нам надо вместе поехать попутешествовать, а потом она поселится у меня, будет жить со мной и с Наташей. От Наташи же в тот вечер я и провожал ее домой.

Еще сказал, что следует потребовать у мужа развод.

– Он не даст, я знаю, ни за что не даст, – прошептала Лидуся едва слышно.

Это были единственные слова, которые она тогда мне сказала. Но все ясно было; ясно, что она со мной, моя. Моя и Наташина.

## II

Муж, действительно, развода ей так и не дал. С матерью Лиды мы не поладили. То есть она восстала против меня, видеть меня даже не захотела и с дочерью, которая все-таки ездила к ней, никогда обо мне не разговаривала.

Было неприятно, что она квартиру Лидину оставила за собой и потребовала, чтобы Лида ничего там не трогала. «Пусть стоит». Точно Лида в гости ко мне переехала. Лида поплакала, – не оттого, что мне это было неприятно, – а жалела мебель и все, что с любовью устраивала, к чему привыкла. Однако покорилась.

Мы зажили у меня, на Васильевском острове. У меня хорошо, просторно, я предлагал Лиде все по ее вкусу, советовался с ней; но она отнеслась как-то безучастно: «не надо, все равно, пусть остается, хорошо».

Я все-таки устроил ей милый уголок в большой комнате, рядом с моей спальней. Кстати же, моя спальня была так мала, что в ней не поместились бы две кровати.

Но у Лидуси – вечный беспорядок, и не сидела она в своей комнате: либо в гостиной, либо у Наташи. Первые годы любила бывать у меня в кабинете.

Наташа к ней привязалась не сильно; девочка она была всегда сдержанной. Звала не мамой, как я сначала хотел, а тетей Лидой.

Что ж, мы сначала жили очень хорошо. Уединенно. Я не любил общества, а Лида не сошлась даже и с теми товарищами моими, которые у меня бывали. Избегала их. Я ходил к некоторым один, но редко. Лида ездила к матери, и я даже рад был: нельзя же все дома сидеть.

Нисколько не интересовалась Лида и моим делом, моими лекциями и работами. Сначала меня это пугало, а потом – понравилось. В самом деле, – зачем? Это ведь мое, мне одному нужно, всегда со мной; даже надоело, – от него-то и спастись – с Лидой. Вообще, я никогда не знал, что мне нравится, что не нравится в Лидусе. Например, ее не то скрытность, не то сдержанность в словах. Она не молчалива, совсем нет! Но я стал замечать, что, когда мы беседуем, – говорю, собственно, я, а она только нежно шутит, отвечает не прямо, а так, около; выходит и мило, и весело, но я никогда не знаю, что она думает.

Я говорил много о себе, о моей любви к ней, о ней самой, как вижу ее: смеется, шутит; может быть – согласна, может быть – нет... На вечный вопрос, который вечно на устах всех влюбленных:

– А ты любишь? Любишь меня?

И на него никогда она не отвечала прямым словом. Нежно смеется, нежно глядит в глаза:

– Люблю? Да нисколько! Вот выдумал! Терпеть не могу! О себе, о том, как она жила до меня, тоже не рассказывала.

Странно подумать, но я ровно ничего не знал ни о ее муже,

ни о том, как она жила с ним, как разошлась. Все, что знал, – смутно слышал от других. Как-то, в кабинете, у камина, в один из самых наших близких, хороших вечеров, я ее стал расспрашивать; открытости какой-то хотелось, еще большей близости.

Лидуся долго отшучивалась, потом, не переставая улыбаться, сказала:

– Да я не знаю, Ники; я не помню. Было просто. У меня всегда просто.

– Что же просто?

– Все просто. Вот я теперь с тобой, это тоже просто. Ты меня любишь, я тебя целую, потому что нам так хочется, потому что надо целоваться, когда влюблены. Разве это не просто?

Должен был сознаться, что просто, хотя и видел, что она уже опять куда-то свела разговор в сторону. Сказал невольно:

– Ну, теперь ты со мной... Любишь. А потом разлюбишь? Вышло очень глупо, но она проговорила с невинностью:

– Разлюблю? Почему бы мне перестать тебя любить? Нет, я всегда буду... всегда буду хорошо к тебе относиться...

Привыкнув к ее малословию и сдержанности, я и от этого уже был в восторге; в первый раз сказала, что не разлюбит, чего же еще!

Это Лидусино малословие, которое меня огорчало, стало мне нравиться. То есть я понял, что оно мне всегда в ней

нравилось. Заставляло ценить редкие ее обмолвки и делало ее всегда загадочной, неизвестной, хотя она и говорила о своей простоте. Я понимал, что не понимаю ее, и мне это нравилось. Я, впрочем, ее любил; оттого все и нравилось.

### III

Пять лет прошло. Целых пять лет. Наши отношения изменялись непрерывно, не останавливаясь, текли, как протекает вода в реке. Не слишком тиха была река: я не видел изменений. То есть мог не видеть при желании.

Время любовничества прошло, мы стали спокойны. Нежность моя к Лиде как будто возросла. Я любил в ней жену. Своего, навеки близкого человека; а она... вот об этом-то я больше всего избегал думать, но порою невольно думалось, – она так и осталась немножко «гостьей» у меня, в моей квартире, которую не любила, о которой не заботилась. Ко мне привыкла, нежно заботилась о моем здоровье, ухаживала, когда я был нездоров, – но и это делала как-то неуволимо-странно, скорее как сестра, – не как жена. Была у меня, со мной, – и ни капельки не у себя.

«Она уж такая, – думал я. – Она не мать, по природе не жена, ну и не хозяйка – нигде». Однако, ведь я помнил: в своей голубой квартире, прежде, давно, она была чуть-чуть другая, – именно у себя.

«Какая тонкости психологические! – сердился я внутренно. – Это я все сам себе выдумываю».

Но невольно я стал замечать, что Лидуся чаще уезжает из дому, – к матери, – дольше у нее засиживается.

Спросил как-то:

– А что, твоя мать все там же? И твою бывшую квартиру не сдала?

– Мою? Нет, у нее там отдельная приемная. Зачем же? Лида скучает. Да и как не скучать? Никого не видит, живем мы тихо. Если бы не к матери, ей бы и выехать некуда. Наташа...

Вот Наташа-то, дочка моя, была первой причиной, заставившей меня оглянуться, подумать, заметить громадные изменения в жизни нашей и в Лиде. Тихие изменения, – и такие коренные.

Лида возненавидела Наташу. Да, да, незаметно любовь ее к ребенку превратилась в ненависть. Я оцепенел, когда впервые сказал себе ясно, что это так. Неужели?.. Да, она любила девочку, моего ребенка; а теперь она не любит, это для нее чужой ребенок, дочь чужого. Я – чужой. Что это такое? Когда случилось? Как я не заметил?

Наташа выросла, но осталась такой же неприветливой, некрасивой девочкой; к тому же была слаба и болезненна. Я учил ее сам, дома, ходила еще учительница. Люблю ли я дочь – я сам не спрашивал. Она просто была для меня – кусок моего сердца. Все равно, какая она, – я, и это кончено, а любовь ли это – не знаю.

Когда Лида кричала на девочку, несправедливо раздражалась или холодно не замечала ее, мне было больно физически, точно я палец в дверях прищемил.

И все чаще бывало мне больно.

Раз, вернувшись с лекций, я застал такую сцену.

Лида, со спокойным лицом, но с холодными, будто стеклянными, глазами сидела в столовой у окна. Наташа – посреди комнаты, высокенькая, неожиданно злая, топала тонкими ножками в черных чулках и кричала:

– Ты не смеешь... Не смеешь... Никогда этого не будет... Папа не согласится! А если ты все-таки... я себя убью.

– В чем дело? – закричал я, похолодев. – Наташа, детка моя, о чем ты?

Наташа не бросилась ко мне, а вся съежилась, закрыла лицо руками и убежала из комнаты.

– Лида, что такое? Что же ты молчишь? Что у вас произошло?

Лида перевела на меня свои стеклянные глаза.

– Да ничего. Ты не волнуйся, пожалуйста. Тебе вредно.

– К черту мое волнение! Я хочу знать, что ты говорила девочке?

Лида пожала плечами и лениво поднялась со стула.

– Она делается маловыносима, твоя дочь. Право, ее следовало бы отдать в закрытое заведение, в хороший институт. Дисциплина – великая вещь.

– В институт Наташу? Больную, такую, как она? Лида, опомнись. Это ты ей и сказала?

– Вовсе она не так больна. А общество сверстниц ей было бы очень полезно. Впрочем, Ники, это твоя дочь, твое и дело. Я только даю совет, и очень разумный, серьезный.

– Да что она такое сделала?

Лида опять пожала плечами. Направилась к дверям.

– Скучно, Ники! Что сделала? Ничего не сделала. Достаточно видеть ее постоянно, в мелочах ее характера... Да делай, как знаешь. Свое мнение я тебе сказала.

И она вышла.

Наташа все-таки ребенок. Я помню, что первое время она тянулась к Лиде, любила ее... Когда же все изменилось? Медленное отталкивание Лиды медленно закрыло перед ней душу девочки. Теперь, может быть, и она уже ненавидит Лиду?

Нет, Наташа все-таки ребенок. Утешая, успокаивая ее, как умел, я осторожно заговорил и о «тете Лиде». Наташа хмуро призналась, что боится ее.

– Ты ее не любишь, девочка? Что же она тебе может сделать?

– Нет, не люблю. И она ничего не может сделать. Но я ее боюсь, папа. Она так смотрит на меня, и я не знаю, я тогда боюсь. Папочка! Ну пусть... Только не отдавай меня в институт!

Мы долго ссорились в этот вечер с Лидой. То есть я ссорился, а она нисколько. Спокойно глядела, – не холодно, а с лаской, – ласково улыбалась. Не помню уж, что я говорил, но все слова мои гасли, замирали, точно я говорил в подушку.

– О чем ты, право, говоришь, Ники? – сказала Лидуся, и я умолк: мне показалось, что и я не знаю, о чем говорю.

– Полно, не волнуйся. Не хочешь отдавать девочку в ин-

ститут – не отдавай. Ведь ты же свободен. У тебя свое мнение – у меня свое. Это тебя касается, – значит, ты тут и волен делать как хочешь.

– Лидуся, но ведь мы вместе... Ведь Наташа...

– Наташе очень бы хорошо было в институте. Но она твоя, значит...

– Ах, Лида, Лида... – перебил я ее и бессильно замолк, не зная, что еще сказать. Не находил никаких слов, а боль в сердце осталась, мутная, неисцелимая.

– Поздно, Ники, ты меня заговорил, а я маме сегодня обещала... Ну, нечего делать, завтра поеду. Да перестань, брось, какой ты смешной!

Она, улыбаясь, подошла ко мне и нежно провела рукой по моим волосам. Я тоже улыбнулся. Поцеловал ее. А боль осталась.

## IV

Летом мы жили на дачах, и всё на каких-то скучных. Теперь я понимаю, до чего, в сущности, вся жизнь наша была скучна и мертвенна, и сам я скучен. И лекции мои скучны. Когда приходили курсистки (это случалось), я немного оживлялся, говорил, и мелькала мысль, что не скучно ли я живу, не мертвею ли в тишине своей? Но опять все шло по-прежнему, опять не с кем было говорить, даже если б и вздумалось; за столом спокойно улыбалась Лида, – и я ничего не хотел, думал о том, что я, в сущности, счастлив... Только бы осталось, как прежде. Только бы вот с Наташей... Ну, пока, вот эту неделю, было спокойно...

Однако я не удивился, что Лида решила весь июнь прожить у матери, в Петергофе.

– Знаешь, мне хочется, Ники. Мне хочется отдохнуть. Этого слова я не понял.

– Отдохнуть? Разве ты устала?

– Отдохнуть, Ники. Я потом приеду к вам. Я стала такая раздражительная.

– Лидуся... – забормотал я растерянно. – Да, тебе скучно, я понимаю. Мне тоже скучно. Хочешь, поедем путешествовать? По Волге прокатимся... И Наташе будет полезно...

Но она сжала брови.

– Нет, нет, я не от скуки. Я и зимой не скучаю. Ты все

дома сидишь, а я ведь езжу и к маме, и там... со знакомыми в театр...

Про знакомых и про театр я слышал в первый раз. Вспомнил, что она, действительно, часто уезжала, но не рассказывала никогда, где была, а я отвык спрашивать.

– Я для отдыха, – продолжала Лида. – Что Волга? Какой же на Волге отдых? Тебя тащить, Наташу...

Давно уж прошло время, когда я мог ее спрашивать: «Ты любишь меня? ты не разлюбишь?» И я только спросил тихо, сам боясь своего вопроса:

– Ты не любишь Наташу, Лида? Отчего?

Она ничего не ответила. Может быть, не расслышала вопроса. Я был рад.

Сильно тосковал я, когда она уехала. И писем не писала, – говорила: «Не умею». Через месяц вернулась.

– Что ж, отдохнула?

– Да... не очень.

– Видишь, напрасно только бросила нас...

– Отчего? Я отдохнула, но немного. Поживу – и опять поеду. Маме обещала.

– Как, Лидуся? Опять? Да что ты, я только что обрадовался...

Она промолчала. Но я перестал радоваться. Приглядывался к ней, к ее усталой походке, ленивому безделью, к ее сразу, без всякой причины, поднявшемуся раздражению против Наташи.

«Чужой ребенок», – думал я с болью и почти обрадовался, на мгновение, когда Лидуся показала мне телеграмму от матери.

– Ники, она зовет, я поеду недельки на две еще, хорошо? Осенью заболела Наташа. Лида молча и хорошо ухаживала за ней, сносила капризы, как... ну, совсем как добрая сестра милосердия, ухаживающая за всяким чужим ребенком. Тревожился, делал глупости, страдал за девочку – я один.

Наташа поправлялась очень плохо. Доктора сказали мне, что ей необходимо пробыть месяца два в тепле, здесь она не выдержит. «Поезжайте в Сан-Ремо».

Я передал это Лиде.

– Поедем, Лидуся. Надо.

Она согласилась, как будто даже обрадовалась. И я обрадовался. Вспомнил, как в первый раз мы путешествовали с Лидой, были в Италии, в Риме...

## V

Не без труда устроил я себе отпуск, поехали.

Но, Боже, как это путешествие не было похоже на первое! только оторвавшись от привычной обстановки, где незаметно течение жизни, я увидел, как изменились и мы с Лидой, и наши отношения, и Наташа, выросшая, которая прежде связывала нас, а теперь – разъединяла.

В гостинице, сближенные теснотой маленьких комнат, в чужой стране, мы как-то нелепо толпились и раздражали друг друга. Полубольная девочка капризничала. Лида не уезжала к матери. Мне не нужно было уходить на лекции. И мы не знали, что делать друг с другом, и не о чем было говорить.

Я не помню, говорили ли мы с Лидой и в первое наше путешествие. Я, должно быть, говорил; она, должно быть, молчала. Но тогда у нас было другое, тогда мы любили, мы целовались... Любили? А теперь, значит... Нет, я люблю ее, только иначе. Ее люблю, Наташу люблю...

Она не любит Наташу. А меня? Что она думает? Почему не скажет, если не любит?

Но я ее не спрашиваю. Боюсь и ответа ее, боюсь и того, что она не ответит. Никогда ведь она ничего не говорит мне.

Шло все хуже и хуже. Скверная погода, ветры и дожди окончательно запирали нас в комнатах, друг около друга. Наташа капризничала, кашляла. Лида уходила к себе, в самую

маленькую комнатку, и лежала там часами на постели молча. А выйдя к нам, ко мне или к Наташе, раздражалась из-за пустяков, и раздражение у нее было самое неприятное, холодное. Раз она при мне резко, почти грубо оборвала Наташу. Девочка заплакала.

– Оставь ее! – крикнул я на Лиду. – Как ты смеешь! Лида молча повернулась и ушла к себе. Заскрипела кровать. Легла, значит.

Целый вечер прошел, томительный. Когда успокоилась и заснула Наташа, я пошел к Лиде.

Темно. Тихо. Я нащупал маленькую лампочку, зажег ее и присел на край постели.

– Ты спишь? Лидуся!

Я шептал, чтобы не разбудить девочку в соседней комнате. Лида обернулась ко мне, глядела спокойными и ласковыми глазами.

– Прости, Лидуся... – начал я. Она приподнялась и села.

– Ну, что ж... Ники, а я думаю поехать.

– Ты? Куда?

– Думаю поехать. Наташа почти совсем здорова. Ты лучше справишься. А я устала. И ветер этот меня утомляет.

– Устала? – повторил я растерянно. – Но ведь мы еще два месяца...

– Через Берлин поеду, на Петербург. Через Берлин прямее. Ты как думаешь?

Я хотел опять спросить, да что же это такое? Что между

нами? Зачем она от меня уезжает, или зачем мы живем с ней вместе? Что она думает? Ведь надо же сказать. Надо же спросить. Мы живем плохо, и все хуже и хуже, и неизвестно, кто виноват, но отчего? Как помочь? Или нельзя помочь?

Лида смотрела на меня ясно и шептала:

– Значит, завтра... нет, послезавтра. А вы через два месяца. Хорошо?

Все было не хорошо, а плохо. Но удерживать я ее не мог, – жить так, как мы жили, было хуже всего.

И опять ничего я ей не сказал, не спросил. Ясные глаза ее точно отталкивали всякий вопрос. Я чувствовал, что он останется без ответа, повиснет, шепотный и жалкий, в воздухе.

И она уехала, а я остался вдвоем с Наташей. Легче было жить как будто, и девочке моей легче, но я жил внутренне тяжело, растерянный и точно под невидимой подушкой. Она душила меня, а я не мог и откинуть ее, она была – непонятность, неизвестность.

## VI

Главное... – или это не главное? – ждало впереди.

Мы с Наташей, немного окрепшей, вернулись в Петербург незадолго до Рождества.

От Лиды за все время было две-три открытки. «Не умею писем писать»... Да, признаться, и я писать ей тоже не умел. Порою хотелось, не словами, так в письме, что-то объяснить, спросить... А вспомнишь, кому пишешь, вспомнишь ее глаза, ее ласковое ответное молчание, и нет сил; царапаешь условные приветы, да о погоде, да как-то ненужно и неловко: «Не скучай...»

Санки, легкий морозец, на улицах уже предпраздничная суета. Мне стало весело, и Наташа радовалась родной зиме. Телеграммы о дне приезда я не послал, – зачем Лиде тащиться встречать? Лучше дома.

Вот и широкие, белые линии Острова. Вот и наш дом.

Нам отперла, и не скоро, толстая кухарка Васса.

Закричала с изумлением, которое и меня привело в изумление.

– Господи, барин с барышней! Да как это так! Ах ты, Господи!

Захлопотала с вещами. Я вошел в комнаты. Мебель в чехлах, пыльно; и холодновато, точно не топили.

– Васса, да ведь вы же знали, что я на днях буду! Барыня

дома? А Феня где?

Васса глядела на меня с недоумением.

– Феню, уж почитай месяца два, барыня взяли. Сряду, как приехали, и взяли.

– Куда? Барыня-то где? Дома?

– Дома, должно, где ж им быть. Давно не заходили, вот и письма им какие – я на буфет в столовой кладу. Не велели отсылать. Я, говорит, Васса, либо Феню пришлю, либо сама как-нибудь.

Я увидел на буфете две моих открытки, одну с извещением о приезде.

– Значит, барыня и не жила тут? – спросил я странно.

– Нет, они у себя, зачем же. На Сергиевской, что ли. Феню зашли, взяли, потому чего ж ей даром при пустой квартире жить. Эко дело, а мне и не знатье, что нынче барин с барышней будут!

Она затопила печи, принялась варить кофе. Голодная Наташа закуталась в платок, вяло ходила по необустроенным комнатам.

Когда я понял, в чем дело, – я даже рассмеялся. Да с чего я вообразил, что Лидуся будет жить в моей квартире, одна, а не «у себя» на Сергиевской, около матери? Прежняя голубая квартирка ее, где она, действительно, «у себя», – свободна. Взяла Феню, горничную, и живет. Ведь это же естественно, это просто. Она не писала об этом, думая, что я ничего другого и вообразить не могу. А я вообразил. Для меня, значит,

естественно неестественное. Мне больно, что Лида поступает просто, я хочу каких-то непростых вещей. От природы, что ли, я глуп? Или только... люблю ее?

В этих бесплодных мыслях я как-то оцепенел на весь день и даже не двинулся, чтобы черкнуть слово Лиде о нашем приезде.

К вечеру в доме немножко наладилось. Васса призвала на помощь беременную швейцариху; пообедали, Наташа рано легла.

Я подумал: зачем писать? Лида, наверно, живет не у матери, а именно в голубой квартирке своей. Туда я и сам могу поехать. Отчего не поехать?

Отправился. Темный, знакомый дом на Сергиевской. Как я давно здесь не был! Думал, что и никогда не буду.

Молча пройдя мимо важного швейцара, я поднялся во второй этаж.

Феня, принаряженная (никогда она у нас таких фартуков не носила!), изумилась не хуже Вассы.

– Ах, барин! Да когда же изволили приехать? А барыня в театре, вот беда!

– В театре? Ну что ж, Феня, я подожду. Нынче только приехал. Барыня моего письма не получила.

– Пожалуйте, пожалуйста, – говорила проворная Феня, ведя меня в знакомую гостиную и зажигая по дороге электричество. – Верно, письмо-то было на ту квартиру, не удосужилась я сбегать, беда, право!

Я опустил в низкое, темно-голубое кресло, недалеко от догорающего камина. Как здесь хорошо, скромно и уютно. Ковер во всю комнату, первые гиацинты, розовые, слабо пахнут из уголка. На письменном столе, небольшом, так все аккуратно прибрано. И портреты... Чьи? Это мать. А это мой. Старый, но хороший. «Дома» я его у Лиды не видал. То есть у меня дома; здесь я не дома. Здесь я – у нее.

Тихо. Постукивают каминные часы. Рядом, в столовой, осторожно звенит посудой Феня. Чай, верно, накрывает.

Долгое, долгое время. Но мне не скучно. Не то я дремлю, не то просто, так; ни о чем не думаю. Ничего не хочу. Мне удобно в голубом кресле. А что будет... ведь не знаю я, не могу даже угадать, что будет.

Позвонили. Пробежала Феня. Я очнулся и встал.

Вот быстрый говорок Фени в передней и – «ее» голос. Сейчас она войдет.

Вошла... Белая вся, что-то блестящее, белое переливается на плечах, точно ледяные блески.

– Ах, Ники! Да когда же ты приехал? Долго ждал меня?

Обняла нежно, открыто, я чувствовал ее холодные с мороза щеки.

– Так ты долго ждал? Она обернулась.

– Вот... Позвольте вас познакомить. Иван Сергеевич Торн.

Я не заметил сначала, что она не одна. За ней в комнату вошел довольно приятного вида молодой человек в смокин-

ге, очень скромный и приличный.

– Это верный мой поклонник, – сказала Лида, смеясь. – И театральный товарищ. То есть оперный, вернее. Ибо драмы он не признает. А «Хованщина», Иван Сергеевич, меня не вполне удовлетворила. Нет, нет, как хотите...

Мы вошли в столовую. Лида разливала чай, блестя белыми льдинками своего платья. Говорила весело, расспрашивала меня об итальянской погоде, о том, как я ехал. С Иваном Сергеевичем спорила о сегодняшнем спектакле.

Торн через какие-нибудь полчаса вежливо поднялся, чтобы уйти. Лидуся его не удерживала, простилась приветливо и просто.

– Погоди, я надену халат, – сказала она мне, уходя куда-то. – Посидим еще, если не устал с дороги.

Я вернулся в гостиную и сел в то же кресло.

– У тебя хорошо, – сказал я вяло, когда пришла Лида.

– Правда? Очень уютно. Ники, вот досада, что я тебя не встретила. Я бы вам приготовила...

Я глядел на нее молча. И вдруг, точно ворочая непомерную тяжесть, сам не понимая, зачем и что я спрашиваю, грубо и глупо сказал:

– Этот... как его? Торн... Он твой любовник? Она широко раскрыла глаза. Взор ее все холодел.

– Я тебя не узнаю, Ники, – произнесла она печально. – Что это ты спрашиваешь?

– Ну, да, спрашиваю... И буду спрашивать... Ты мне от-

ветишь! Опять молчишь? Опять?

– И не думаю молчать. Ты, верно, устал, расстроился чем-нибудь... Брось, Ники...

У меня дыхание схватывало. Медленно поднялся со стула. Лидуся продолжала между тем:

– Боюсь, что тебя расстроила наша неудачная встреча. Квартиру ты нашел неубранной, нежилой. Первое впечатление – и такое дурное. Но как я могла знать? Через несколько дней я перееду к тебе, если хочешь, долго ли собратся? Я теперь хорошо отдохнула...

– А-а, отдохнула! Очень! Очень рад! И любовника возьмешь с собой? Говори, на вопрос отвечай! На вопрос!

– Ники, Ники, да опомнись! – проговорила Лида, пытаюсь взять меня за руки. – При чем любовники, при чем твои вопросы! Разве ты можешь об этом спрашивать? Ведь ты же мне давно не любовник, ведь смешно и стыдно, если б мы вдруг стали целоваться, как любовники! Как ты простых вещей не понимаешь! Стыдно же целоваться тогда, когда этого не непременно, не во что бы то ни стало не хочется. Это было у нас – и прошло, ты не любовник. Зачем же ты заводишь об этом разговор? Если я скажу, что нет у меня любовника, ну, что тебе?

Я слышал – не слышал, понимал ли, не знаю. У меня дед был кабатчик. Самый настоящий кабатчик, деревенский кулак. Дед во мне проснулся, высунулся из меня, и, уже не помня себя, я заорал, как мужик, заорал, корчась от боли и гнева:

– К дьяволу! Я тебе не любовник, не любовник? Да кто же я тебе, наконец? Не муж, не любовник, не брат, не товарищ, – товарищ! Кто же? Тряпка грязная! На кой черт я тебе нужен? А не нужен, так говори! Будешь ты отвечать, проклятая?

Вырывая руки, за которые она еще держалась, я толкнул ее. Без слова, она поспешно выбежала вон. Я кинулся за ней. Но у дверей остановился. Опомнился. Не сразу, медленно-медленно остывало у меня внутри, слабела какая-то струна, только дышать было трудно: вот она, знакомая, тяжелая и мягкая подушка, тихая, из-под нее не уйдешь; тихо слепни, гложни, тихо мертвей; не бунтуй – бесполезно.

Не мыслями, а одним представлением подумал я в эту краткую минуту у дверей, подумал о том, как ничего не случилось, как она спокойно переедет ко мне на Васильевский остров, какая будет все та же у нас жизнь: у меня – мертвеющая от нее, у нее – с «отдыхами» от меня, и опять Наташа, и опять всё, всё... Это она, Лида, и омертвила мою жизнь... Нет, не она, а любовь наша... Любовь? Не знаю... Не чувствую ничего. Только бессловесность. Только удушье...

И вдруг тут же словно из-за угла, нелепо, жалобно выскочила совсем другая мысль: а может, еще ничего? Может, все хорошо, все еще уляжется, обойдется... Наташу, может, и вправду в институт отдать, а? Тогда Лида...

До сих пор не понимаю, как это все успел я продумать и прочувствовать в краткую минуту, пока Лида не вернулась.

Она очень скоро вернулась и держала в руках рюмочку с

каплями. За каплями-то и ходила.

– Выпей, Ники, выпей, это – эфирно-валерьяновые. Ах, как ты себя не бережешь! И бесполезно ведь все, право.

Я посмотрел на нее, на эти капли. Даже без удивления. Все забыл, о чем сейчас думал. Взял рюмку, покорно выпил. Сел на прежнее место, на то кресло у камина, и стал плакать.

Плакал беспомощно, беззлобно и без особенной горечи. Было только стыдно немного, что вот я, такой большой и уже почти старый, плачу перед этой худенькой женщиной, которая спокойна и глядит на меня с ласковой грустью. Да еще плачу неизвестно о чем, – что же, собственно, случилось? Плачу некрасиво, непривычно, всхлипывая и сморкаясь.

Лида не трогала меня, только смотрела грустно и сочувственно, ждала терпеливо, пока я успокоюсь.

Я вытер глаза, спрятал платок в карман и встал.

– Ты уходишь, милый? Она тоже встала.

– Да, Лидуся. Прощай.

– До свидания, Ники. Иди. Господь с тобой. Я тебя провою. Феня уж, верно, спит.

В передней зажгла огонь, помогла мне найти кашне и, приподнявшись на цыпочках, с простотой поцеловала меня в щеку.

– Да свиданья, Ники. Спи хорошенько. Тебе надо отдохнуть.

Я вышел на лестницу, потом на улицу и так шел, тупо, мерно, пешком до самого Васильевского острова, до самого

дома.

А придя – лег, сейчас же уснул, спал до утра.

На другой день ничего не было. То есть было, что пил утром с Наташей кофе и думал о том, что надо сегодня же зайти к старому знакомому, профессору Шильде, и поговорить с Анной Марковной, его женой. Анна Марковна толковая, она мне найдет хорошую гувернантку для Наташи. Давно уж был как-то об этом разговор. Исподволь пора девочку и в гимназию приготавливать.

Кухарке Вассе я сказал, что надо бы горничную нанять.

– Феня-то, значит, при барыне остается? – подумав, спросила Васса.

– Должно быть.

– Так. Есть тут у меня одна девушка...

– Ну и отлично.

Я пошел по своим делам. На курсы тоже хотел, заглянуть в канцелярию, хотя вряд ли кто там есть перед праздниками.

Так дни замелькали, чередой шли и проходили.

Ничего не случилось, – да и что могло случиться? Случается только одно – проходит время. Плоско и неприметно текут его струи. Я требовал каких-то событий, я лез на них... Приставал к Лиде, хотел ощупать связывающую нас нить, крепче связать ее или разрезать... Пустое! Лида не понимала, о чем говорю я, чего хочу; для нее просто всякая нить сама собою сводится на нет. Все делается само собою, о чем же говорить? О чем заботиться?

Я мог бы пойти к Лиде, опять спрашивать, опять в чем-нибудь упрекать ее; тогда она вспомнила бы меня; даже, попроси я, она, вероятно, переехала бы и на мою квартиру. Но если я не пойду – она не вспомнит, не придет ко мне, и не по вражде, не по злобе, – а так. Просто. Просто себе ей не вспомнится. Не умеет она писать, не умеет говорить, ничего она не умеет делать, сама делает; с ней делается: это разница.

Я не пойду к Лиде, и тоже не по чему-нибудь такому, а оттого, что не могу: стал, как она. Тоже разлучился делать сам. Пусть и со мной «делается».

Прежде я говорил дерзко: «Я живу!» А надо со скромностью: «Мне живется». Если это конец, то конец простой, естественный, – без конца. В жизни все концы без концов.

Я говорил: подушка. Ну да, жизнь-то сама и есть подушка.

Теперь, когда я не барахтаюсь, она меня не так давит.

Удушенному не душно.

Не барахтаюсь. Скоро затих? Что ж, у меня было, значит, очень короткое дыханье.